

Николай Петрович Вагнер

# Чудный мальчик

Н. П. Вагнер  
ЧУДНЫЙ МАЛЬЧИК

Говорят, что люди прежде не смеялись оттого, что на земле тогда ничего смешного не было. Другие говорят, что сами люди были прежде умнее и понимали, что ни над чем не надо смеяться, потому что сама природа никогда ни над чем не смеётся и всё в ней, точно так же, как и в человеке, который не больше, как только частица природы, полно глубокого и великого смысла. А кто смеётся над чем бы то ни было, тот, значит, не понимает этого смысла и видит только то, что лежит сверху у него перед глазами.

Но вот раз, в одном большом городе, случилась очень странная вещь. В ясный день вдруг, неизвестно откуда, посреди самой большой площади и даже не прямо на ней, а над ней, просто на воздухе, появился хорошенький мальчик, и как только увидали его люди, так все разом, как будто стоворились, захохотали; и нельзя было не захохотать, потому что у мальчика было такое лицо, на которое нельзя было смотреть без смеху, а между тем это лицо было очень хорошенькое. У мальчика были отличные чёрные глазки, но такие лукавые, так они плутовски бегали из

стороны в сторону, что каждого так и подмывало выкинуть какую-нибудь весёлую штучку. Рот мальчика улыбался самым предательским образом, на щеках выступали весёлые ямки, а маленький носик при этом так нахально подпрыгивал кверху, что решительно все помирали со смеху, и старый, и малый.

Но ведь и смеху приходит точно так же конец, как и горю. Нахохотавшись вдоволь, до слёз и до колотья в боках, люди уже было принялись хладнокровно рассматривать чудного мальчика. Но тут он снял с головы шапочку, в виде горшочка, и вдруг прямо из головы у него брызнул фонтан самых блестящих искр. Эти искры полетели вверх, направо, налево, во все стороны. Они падали на деревья, на камни, на ослов, лошадей, коров, свиней, людей — везде. И куда бы ни упала искорка, люди начинали хохотать неистово. Падала искра на гнилой забор — люди смеялись, падала на кривое дерево — смеялись, падала на покачнувшуюся избушку — смеялись, падала на горбатого старичка — смеялись, на хромую старушку — смеялись, на гнилую воду — смеялись, на грязную дорогу

смеялись, летели искры в небо — и над небом люди смеялись. Так что, наконец, ничего не осталось на земле и на небе, над чем бы люди не посмеялись. Всё было осмеяно. Но Чудному мальчику этого было мало. Он не только сам бросал во всё искры, но научил и людей делать то же. И вот с тех пор люди и ходят и смотрят: не блестит ли где искорка, или нельзя ли в кого-нибудь пустить искру. Ведь это так весело!

И вот в том самом большом городе, где явился Чудный мальчик, у царя была дочь-красавица и такая добрая, что весь народ любил её и не мог на неё надивиться. Все звали её: наша добрая, прекрасная царевна Меллина. Пробовал и в неё бросать свои искры Чудный мальчик, но искры не долетали до неё или падали у её ног и гасли. А всё-таки Меллина боялась, и сильно боялась, этих злых искр. Прежде она, бывало, оденется как ни попало, что под руку попадёт или что подадут ей. Всё, думает, будет хорошо, потому что сама хороша. А тут вдруг начала оглядываться и осматриваться, так что зеркало её, которое до тех пор стояло одинокое, в пыли, теперь

всё просияло от радости. Всё, что ни надевала она, всё оглядывала, не разорвано ли где, нет ли пятнышка, да не будет ли сидеть на ней коробом. Была у царевны Меллины старая толстая кормилица Марфа, которая её вскормила и вынянчила, и жила эта кормилица далеко от дворца, в самом грязном дрянном квартале, который звали Свинные Закутки. Когда она совсем вынянчила царевну, то царь позвал её к себе и сказал:

— Ты теперь будешь жить всю остальную свою жизнь и со всеми своими детьми во дворце на покое. Я жалую тебя с моего царского стола и плеча. Дарю тебе лисью шубу, багрянцем крытую, две нитки зерна бурмицкого и три золотые гривны. Живи себе с миром.

Но толстая Марфа поклонилась царю в ноги и говорит:

— Спасибо тебе, царь-государь, за слово ласковое, за жалованье царское; охотой пошла я в твои палаты твою царскую дочь кормить и пестовать, охотой жила я тут восемь лет, охотой пойду я теперь на волю в мою убогую хижину. Можешь ты меня, царь-государь,

казнить и миловать, на то есть твоя царская власть и воля. Но коли по моему глупому желанию ты поступить изволишь, то пусти ты меня в мой домишко. В нём умер мой старый батюшка, в нём скончалась моя родная матушка, в нём мы жили любовно и простились навек с моим мужем, что ушёл на войну в твоё царское войско и убит на сраженьи. И ещё прошу у тебя милости, — и снова поклонилась старая Марфа царю земным поклоном. — Не жалуй ты меня твоей царской казной, не дари ты мне шубу, багрянцем крытую, не дари ты меня бурмицким зерном. Жила я в палатах твоих, служила тебе верную службу, не корыстовалась, вскормила, вспоила я, выняньчила ненаглядную мою звёздочку, царевну мою прекрасную, кормила, растила я её и всё думала: созревай, наливайся, моё зёрнышко, ласточка моя сизокрылая; вырастешь ты, зацветешь алым цветиком; тогда полюбуюсь я на тебя, моя царевна прекрасная, и скажу тебе слово правдивое: живи, царская дочь, любовно и праведно, пусть твоё сердце будет полным-полно любовью да кротостью, печалью да жалостью ко всякому горю людскому,

горю народному, горю великому. И если то желание моё совершится да сбудется, то не будет для меня выше и краше той великой радости.

Посмотрел царь на мамку-кормилицу, посмотрел из-под седых бровей взглядом милостивым, ласковым и сказал ей:

— Спасибо тебе, слуга верная, усердная, что умела служить от сердца чистого, по правде, по совести. Будь всё по твоему желанию, не жалую я тебе подарка царского, а дарю я тебя подарком по сердцу: не царь тебе дарит его, а отец дарит, за свою дочь единородную, на память по нем добрую.

И встал старый царь, снял со своей груди ладонку, в которой был зашит великий секрет — запрет от ночного погрому и разорения, от лютой смерти безвременной, от лихого злодея-ворога.

— Завещал мне эту ладонку мой родитель, покойный царь. Передаю её тебе, моя верная слуга, носи её, меня поминаючи, да спасёт она тебя от всякой лихой беды!

Упала на колени старая мамка-кормилица, упала и заплакала. Вся душа её от великого

счастья перевернулась. Всё сердце её выиграло, запрыгало, и ничего от радости не могла она вымолвить.

Крепко любила царевна мамку свою и рассталась с нею не без горьких слёз. Она часто видалась с ней, и чем больше росла, тем крепче становилась эта любовь; потому что царевна сердцем понимала, что за добрая, чистая душа была у простой её мамки.

И вдруг эта добрая, любимая и любящая мамка сильно захворала и только просит и молит, как бы повидать ей перед концом её царевну родимую: «взгляну я, — говорит, — хоть одним глазком, на мою ненаглядную, взгляну в последний раз и умру, её благословляючи!»

Встрепенулась царевна. Одеваться скорей да бежать к моей родимой старой мамке! Но только что взялась за дверную ручку, как вдруг вспомнила, что теперь уже всё стало не то. Что нельзя теперь ей идти, как прежде было, попросту, что осмеют её теперь, ошикают двадцать раз, прежде чем дойдёт она до Свиных Закуток. Бросилась царевна наряжаться, но и тут беда: что ни наденет, всё не так: то ей

кажется слишком парадно, и все скажут: «Вон, смотрите, как вырядилась царевна, это она идёт к своей умирающей мамке!» То ей кажется, что всё на ней и бедно, и гадко, так что все на неё уставятся, как только она выглянет на улицу, и все закричат: «Вон, смотрите, царская дочь какой шлюхой ходит!» Всё она у себя перерыла, всё перебрала, то надеет, то опять сбросит, вся измучилась, а часы летят себе, не дожидаются, и уже вечер на дворе, тёмный осенний вечер, и снег с дождём в окна колотит.

— Ах! я несчастная! — плачет царевна, — неужели я не увижу уж тебя, моя добрая, дорогая мама. Нет, нет, я должна тебя видеть и помочь тебе! Всё вздор! Будь, что будет — пойду в чём есть; и, накинув шубейку, бросилась она к двери. Но прямо против неё на той стороне улицы мальчишки прыгали по лужам, и как только отворила она дверь, так все они разом завизжали и захохотали, точно увидели самого Чудного мальчика.

Зажала царевна уши, бросилась как угорелая, назад в свой терем.

— Что делать, ах, что делать! — схватилась

она обеими руками за головку. А на дворе уже ночь тёмная, и вьюга так и злится. — Мама, дорогая моя, — стонет царевна, — умрёшь ты, не выдав своей дочки! Что же я буду делать, несчастная! — И ломая руки, упала она на перину пуховую, уткнулась головой в подушки и горько, горько зарыдала.

И вдруг слышит она, что кто-то дотронулся до её плеча. Обернулась царевна и, при свете лампадки, видит она — стоит перед ней маленькая старая старушка. Прыгают у ней глазки, как свечи, косматая голова трясётся, а беззубый рот и жуёт, и шамкает, и улыбается.

— Кто ты? — спрашивает в испуге царевна. А старушка хихикает.

— Ты колдунья? — спрашивает царевна, и в ужасе жмётся к стене, прячется в подушки, и хочется ей кликнуть своих сенных девушек.

— Может быть, колдунья, может быть, вещунья, почём знать, а пришла я, шамкает старуха, — помочь твоему горю, из злой беды выручить. — И царевна встрепенулась, даже страх прошёл.

— Ты перенесёшь меня, — говорит она, — к моей старой мамке, перенесёшь сейчас же на

крыльях ветра, на ковре самолёте? Ведь это ты можешь сделать? Да!

— Хи-хи-хи! моя красавица, всё я могу, только поспешишь — людей насмешишь, видишь ты какая прыткая. — Зачем нам по ночи летать, когда можно днём и пешком дойти. Поживёт твоя мамка и до утра, не умрёт, до самых полден. А ты лучше скажи, моя ясочка, чем это ты собралась твою мамку от злой болести вылечить, от смерти лютой освободить, али так просто своими ясными глазыньками?

Схватила себя царевна за голову, вся покраснела. Тут только вспомнила она, что вместо того, чтобы подумать, чем своей мамке помочь, она только и заботилась о том, как бы не посмеялись над ней. Вскочила она, давай собираться к лекарю, какому-нибудь знахарю. А старушонка всё хихикает и головой трясёт.

— Не надо, моя радость, не надо, моя красавица, чего суетишься, всё у меня есть, всё, что надо тебе; а к знахарю не ходи, никакой знахарь не поможет. И старуха вытащила из-за пазухи сткляночку. Вот для твоей мамки зе-

ль лекарственное, снадобье целительное, выпьет она его, вся болезнь её пройдёт.

— Дай, дай! — говорит царевна и протягивает руки, а старуха хихикает и не даёт стклянки.

— Погоди, красавица, царевна прекрасная, не всё вдруг.

— Дай, — просит царевна, — я тебе всё отдам, всё, чего хочешь.

— Ничего мне не надо, всё у меня есть. На тебе сткляницу, — сказала старуха и отдала царевне лекарство. — Только вот что, моя радость, душа ты моя прекрасная, лекарство это не простое, а волшебное, волшебное заговорённое, надо его давать умеючи, относить с почётом, да с оглядкою. Пойди ты с ним завтра утром, как только на башне сторожевой пробьёт царский колокол, пойдёшь, на восток поклонись, и неси ты его бережно, к сердечку своему прижимаючи. Слышишь ли, моя красавица?

— Слышу, — говорит царевна.

— Ну, и пойдёшь ты, приоденешься, не в простое платье, а в заморское, — а я тебе и платьице принесла. И без этого платьица луч-

ше и не ходи. Никакое лекарство не поможет.

И старуха вынула из-под мышки узелок, развязала его.

— Вот тебе, моя красавица, перво-наперво шапочка; шапочка парадная, нарядная. — И старуха вытащила большой красный колпак, весь он был испачканный, весь обшит бубенчиками, а на самой макушке был пришит целый пук кудели нечёсаной. Всплеснула ручками царица и побледнела, говорит:

— Как, я должна идти в этом колпаке!?

— Должна, моя радость, должна, свет мой писанный, так уж по обычаю следует. А вот тебе к нему и душегреечка.

И старуха опять вытащила из узла коротенький, нагольный полушубочек, издёрганный, засаленный, вывороченный шерстью кверху, и весь полушубочек был обшит волчьими хвостами.

— Вот тебе, моё сокровище; надень, прирядись, моя радостная, будешь красавица писанная, рисованная; наденешь, пойдёшь, все на тебя люди будут дивиться да ахать. По-краснела царица, ножкой топнула:

— Как, — говорит, — ты смеешь мне, цар-

ской дочери, такой наряд шутовской предлагать!

— У! у! моя красавица! Не сердись, моя родная. Хочешь — надевай, хочешь нет, твоя воля: наденешь — мамку свою спасёшь, не наденешь — свою царскую спесь спасёшь; что дороже тебе, то и выбирай; а я тебе ничего не предлагаю, я говорю тебе, что надо сделать.

Стоит царевна, закусив губку, то её в жар, то в озноб бросает. И стыдно ей, и гадко, и жалко мамки любимой, и себя жалко, и если б могла она убить старуху, непременно убила бы её; а старуха всё хихикает.

— Не забудь только, моя красавица, — и старуха нагнулась ей к уху — завтра утром будет великий смотр: соберутся тебя смотреть, сватать женихи со всех земель, из заморских стран. Приедет также и твой возлюбленный царевич Алексей. Вот тебе и всё, моя радость белая! А теперь, прощай, меня не забывай и лихом не поминай! — И старуха вдруг исчезла, пропала, как будто и вовсе её не бывало.

Стоит царевна ни жива, ни мертва, белые ручки ломает, из глаз слёзы катятся, ротик открыт, зубы стиснуты. — И чувствует она чут-

ким сердцем, что ей надо идти. Нельзя ей бросить свою мамку, нельзя её добрую, честную, отдать смерти неминучей. Нельзя! И вспоминает она, как всегда была эта мамка до неё добра да ласкова, как не спала она с ней по целым ночам. Как, раз, ходила она в метель и вьюгу за двадцать вёрст, только за тем, что царевне захотелось посмотреть, каким цветом волчье лыко цветёт. — «Пойду я к тебе, моя добрая мамка, пойду я в шутовском наряде». — Но как подошла она к этому наряду, как посмотрела на него да вспомнила, что путь ей до Свиных Закуток лежит, задрожало её сердце, замерло, всё туманом в глазах у неё подёрнуло, белее полотна белого, словно мёртвая, она как сноп на постелю повалилась. Долго лежала она, себя не помня и ничего не чувствуя, и наконец очнулася, кругом осмотрелась. «Где я, что со мной?» — думает.

На столе перед ней стеклянка стоит, на скамье перед ней дурацкий наряд разостлан лежит, а в окно чуть-чуть светит, белый день занимается. Встала царевна, словно охмелела от хмельного вина, подошла она шатаючись к окну, подошла, села у него, на сердце у неё

словно тяжёлый камень лежит, в голове у неё словно холодный свинец налит. А над окном уже проснулась, нос очищает любимая птица царевны — на шестке сидит ловчий Сокол, серебряными путцами прикованный, сидит, на всё гордо озирается. Проходит целый час. Смотрит царевна в окно и не видит ничего, и ничего не думает. Чувствует только, как сдавило ей всю её грудь белую, в голове, словно колесо, вертится и прыгает. Прошёл ещё час, показалось солнце красное, а царевна всё сидит, как во сне каком. Заскрипела дверь, вошла в терем небольшая собака, старая престарая, Вовком звали эту собаку простую, дворовую, и царевна каждый день кормила, поила её. Не мог уж он, Вовок, лаять от старости, а только хрипел и тьявкал. И это тьявканье понимала царевна Меллина: в нём она слова человечесьи слышала. Вошёл Вовок, визжит, к царевне ласкается:

— Что, — говорит, — царевна, ты рано поднялась, о чём задумалась, задумавшись, пригорюнилась?

— Как не горевать мне, Вовок, когда горе мне большое приключилось. — И рассказыва-

ет царевна Вовку свою беду тяжёлую.

— Что ж, — говорит Вовок, — ты пооди! Это ничего, что над тобой будут смеяться. Теперь над всеми смеются, а когда все над всеми смеются, тогда никому ни завидно, ни обидно. Я тебе про себя расскажу. Я стар, сед и кудлат. Шерсть на мне торчит вихрами, хвост и уши мои давно обрублены. Все надо мной смеются, кроме тебя, моя царевна добрая. Но никого я не виню, ни на кого не жалуясь. Чем же виноваты люди, что я такой смешной уродился? Пусть смеются! Весёлый смех лучше горького горя. Они смеются, а мне весело, значит, я не даром на свете живу.

Слушает царевна, слушает, думает, и как будто ей легче становится от простых слов доброго Вовка.

— Слушай, царевна, — сказал вдруг ловчий Сокол, — был я вольной птицей, летал по поднебесью, плавал я, купался в чистом воздухе, носился гордо, стрелой летал над лугами зелёными, над лесами высокими. Изловили меня злые люди; изловили, связали, насмеялись над вольной птицей. Надели они на меня шутовский наряд, шапку с перьями, при-

ковали меня крепко-накрепко цепью серебряной. Что мне за дело, что эта цепь серебряная! Неволи не выкупишь ни золотом, ни серебром. Пусть надо мной, вольной птицей, издеваются, потешаются, я знаю, что я лучше их, не унижат они во мне честь соколиную, честь благородную, и в злой неволе всё я буду птица вольная, честная, — и злая издёвка не запятнает моего сердца чистого, сердца гордого, соколиного...

Обернулась царица к Соколу, слушает его, не верит ушам. Вся она встрепелась, вскочила, подошла к Соколу, отомкнула его путы серебряные, взяла его на белую руку. Крепко за белую ручку острыми когтями ухватился Сокол. Распахнула царица окно косящато.

— Лети, мой Сокол, лети, мой хороший, на все четыре стороны, и спасибо тебе, что на прощанье ты меня уму-разуму выучил! — Вспорхнул Сокол, полетел с громким криком на все четыре стороны, себя от радости не помнючи. А царица вся словно переродилась. Свалился у неё камень с белой груди. Всё для неё светло и радостно.

— Я иду к тебе, — думает, — мамка моя

добрая, пусть надо мной смеются, издеваются. Я теперь птица вольная, есть во мне сердце чистое, чистое, свободное, соколиное. Никто его не вынет, никто не коснётся его. Выше оно всех насмешек, издёвок людских.

И царица подошла к шутовскому наряду, подошла, усмехнулась и, сбросив с себя царское платье, стала тот наряд примерять, на себя надевать.

Нарядилась царица, посмотрела в зеркало, всё на себе обдёрнула, оправила. В сердце у неё яркий день горит, от радостного чувства грудь колышется, на глазах светлые слёзки блестят, словно ясные звёздочки. Взяла она сткляницу в руки, взяла, к сердцу своему прижала её. Потом лёгкой, твёрдой поступью пошла она из своей светлицы-терема. И как только взялася она за ручку дверную, пробил-прогудел с башни колокол, созывая на работу весь рабочий народ.

Вышла царица на улицу. Кто только шёл по улице, — увидав её, останавливался: что за шутиха такая идёт? Все на неё уставились. Мальчишки, как только её увидели, так все от радости даже перевернулись. Ведь извест-

но, что мальчишек пряниками не корми, дай только посмотреть какую-нибудь диковинку. И вот все они побежали за царевной, бегут толпой-гурьбой, впереди, позади, визжат, укают, а кто посмелей, тот и комком грязи в неё запустит или камешком: ведь и это очень весело. А царевна идёт, усмехается; всё светло в ней и радостно. Не слышит она ни гаму, ни хохоту, не видит она ни мальчишек, ни народу, что идёт за ней, не слышит она земли под собой. Несёт она к своей дорогой мамке с лекарством сткляницу, крепко к сердцу её прижимаючи.

Надивился, нахохотался над царевной народ, мало-помалу каждый оставил её, а она идёт, всё идёт своим путём-дорогою, дошла до Свиных Закуток и чуть не бегом к избушке своей бедной мамки бросилась. Вбежала она в избушку, видит, лежит её мамка без памяти. В три ручья у царевны слёзы брызнули. Бросилась она к постели, приставила к губам мамки сткляницу, и выпила мамка всё зелье целебное, выпила, вздохнула глубоко, вздохнувши, опомнилась. Встала с постели, оглядела царевну, признала её, к ней кинулась. Це-

лует она её, целует руки её, смотрит на неё, не насмотрится, только слёзы застилают её глаза старые, мешают смотреть.

— Дорогая моя, — говорит, — родная, ненаглядная, не чаяла, не гадала больше я видеть тебя, всё моё сердце встосковалось по тебе, моя звёздочка радостная. — И теперь только мамка разглядела-увидела, во что царевна наряжена. Всплеснула она руками, удивилась. Стала царевна ей всё рассказывать, рассказала царевна, а мамка пригорюнилась.

— Вскормила-вспоила я тебя, — говорит она, — дитя моё милое, забыла я тебе одно указать: не бойся ты, не страшись ни хулы, ни людского говору, не бойся насмешки-издёвки злой, а бойся ты своей совести, своего судьи сердечного, неподкупного!

А царевна свою милую мамку и слушает, и не слушает, всё у неё в сердце от радости прыгает; словно на волнах великого счастья всю качает её, убаюкивает, словно десять лет с белых плеч у неё свалилось, и стала она ребёнком маленьким, так ей смеяться, играть и прыгать хочется. — Посидела она у мамки, с нею простилась, за ворота её мамка вывела. А

у ворот толпой стоит народ, втихомолку гудит-шушукает. Как только царица из ворот показалась, все сняли шапки, упали ниц, до земли поклонились. — Узнал народ, зачем пришла царица к мамке своей больной, немощной, узнал, зачем она в шутовской наряд нарядилась: ведь от народа ничего не скроется; вспомнил народ всё добро, что царица ему делала, и ему жаль и досадно стало на себя.

А царица пошла назад своим путём-дорогою, и вся толпа за ней без шапок молча идёт. Не успела царица и полдороги пройти, как летят, скачут вершники-приспешники, в золотые трубы трубят. Едет сам царь в колыхаге с царицею. Поравнялись они с царицею, колыхага остановилась. Вышел из неё царь, навстречу царице идёт, к ней дрожащие руки протягивает.

— Спасибо тебе, — говорит, — моя родная дочь, что ты не забыла долгу-совести, что ты свою старую, добрую мамку в смертной беде не оставила. А вот тебе, дорогая моя, и жених, коли тебе он люб и по сердцу: просит он руки твоей, тебя сватает. Коли любишь, скажи, а не

любишь, откажи ему.

Оглянулася царевна, и теперь только заметила, что стоит в стороне королевич Алексей, стоит, глаза в землю опустил и ждёт ответа, словно вести о жизни и смерти своей. Вспыхнула царевна, вся зарделася, ничего не сказала она, только протянула ручку свою к Алексею королевичу.

Схватил эту ручку Алексей, крепко поцеловал её, себя от радости не помнячи, потом взглянул на царевну, и глаза их встретились, и показалось царевне, что в этих глазах тихим светом светится всё, что есть на свете дорогого и радостного.

А царь их за руки берёт, к колымаге ведёт; садятся они в колымагу и едут в обратный путь. А народ гудит-ревёт:

— Да здравствует, — кричит он, — наша добрая царевна на многие лета, да здравствует её суженый, королевич Алексей!